**1 глава**

Мне было одиннадцать, когда моя мать отправила меня в интернат в Солсбери. Да, положим, когда она привезла меня на станцию, у нее в глазах стояли слезы. Но в поезд-то она меня все равно посадила.

-Как бы порадовался твой отец, узнав, что ты будешь ходить в его старую школу! – сказала она с вымученной на губах улыбкой, а Бородай так бодро похлопал меня по плечу, что я готов был столкнуть его за это на рельсы.

Бородай... не успела моя мать в первый раз привести его к нам домой, как мои сестры тотчас же залезли к нему на колени. Я же объявил ему войну, едва он положил руку на мамино плечо.

Мой отец умер, когда мне было четыре года, и мне его, естественно, не хватало, хотя я его почти не помнил. Но это совсем не значило, что я хотел другого и, уж конечно, не какого-то там небритого зубного врача. Мужчиной̆ в доме был я, защитник моих сестер, предмет забот моей мамы. И вот ни с того, ни с сего она больше не сидит со мной по вечерам перед телевизором, а ходит на свидания с Бородаем. Наш пес, всякого другого гнавший̆ с нашего участка взашей̆, приносил к его ногам резиновые игрушки, а мои сестры рисо- вали ему огромные сердечки.

– Ах, Йон, ведь он такой милый̆! – без кон- ца выслушивал я.

Милый... И что в нем было милого? Он убедил мою мать, что все, чем я любил полакомиться, было для меня вредно и что я слишком много смотрел телевизор.

Чтобы избавиться от Бородая, я испробовал поистине все. Тысячу раз исчезал ключ от дома, который дала ему мама; на его стоматологические журналы (да-да, есть и такие) выливалась кока-кола. В воду для полоскания, которую он постоянно рекламировал, подмешивался порошок, вызывающий зуд... Но все было напрасно. В поезд мама сажала меня, а не его. *«Никогда нельзя недооценивать своих врагов!»* – позднее научит меня Лонгспе. Но тогда, к несчастью, я еще не был с ним знаком.

Решение о моем изгнании было принято, вероятно, после того, как я уговорил мою младшую сестренку ложку за ложкой вылить кашу в башмак Бородая. А может быть, виной тому было также объявление о розыске террориста, куда я поместил его фотографию. Как бы то ни было... я готов был проиграть все мои видеоигры, поспорив, что эта идея с интернатом принадлежала ему, Бородаю, пусть даже моя мать отрицает это до сих пор.

Мама, разумеется, предложила доставить меня в мою новую школу лично и провести в Солсбери пару дней – «пока ты не освоишься», – но я это ее предложение отверг. Я был уверен, что она просто хотела успокоить свою совесть, – ведь они собирались лететь с Бородаем в Испанию в то самое время, как я один-одинешенек сражался бы с незнакомыми учителями, некачественной интернатской едой и с моими новыми однокашниками, большинство из которых наверняка окажутся сильнее и гораздо умнее меня. Ни разу я не бывал отлучен от моей семьи дольше чем на одни выходные. Я не любил спать в чужих кроватях и уж совершенно точно не испытывал никакого желания ходить в школу в городе, которому больше тысячи лет и который этим к тому же гордится. Моя восьмилетняя сестра с удовольствием бы со мной поменялась. С тех пор как она прочла «Гарри Поттера», она непременно хотела в интернат. Мне же мерещились дети в отвратительной школьной форме, которые сидели в мрачных залах перед мисками с водянистой кашей и которых стерегли учителя с палками метровой длины.

По дороге на станцию я не проронил ни слова. Я даже не поцеловал мать на прощание, когда она подняла мой чемодан в вагон, из страха предстать перед Бородаем существом, по-детски распустившим нюни. Время в пути я потратил на склеивание из обрезков газет шантажирующих писем, грозивших Бородаю самой позорной смертью в случае, если он не оставит мою мать в покое. Пожилой господин, сидевший рядом, наблюдал за мной со все возрастающей тревогой в лице, но в результате я выбросил письма в туалет, сказав себе, что мама наверняка догадалась бы, кто их автор, и после этого только еще больше стала бы предпочитать мне Бородая.

Знаю, я был в состоянии, достойном сожаления. Поездка продолжалась один час и девять минут. С тех пор прошло уже больше восьми лет, а я, несмотря ни на что, помню все еще очень точно. Клэпхем-Джанкшен, Бастингстоук, Андовер – все станции были на одно лицо, и с каждой милей я казался себе чем дальше, тем более отверженным. Через полчаса я уничтожил все плитки шоколада, которые мне дала с собой мама (насколько я помню, девять: у нее, должно быть, были сильные угрызения совести), и всякий раз, когда я смотрел в окно поезда и все расплывалось у меня перед глазами, я убеждал себя, что причиной тому не слезы, а капли дождя, бежавшие по стеклу.

Я же говорю: я был в состоянии, достойном сожаления.

Когда в Солсбери я вытаскивал чемодан из поезда, я ощущал себя отвратительно маленьким и в то же самое время на сто лет постаревшим по сравнению с моментом отъезда. Изгнанным. Отверженным. Без матери, без сестер и без пса. Да будет проклят Бородай! Отдавив себе чемоданом ногу, я обратил страстную молитву к преисподней, чтобы отыскалась в Испании какая-нибудь заразная болезнь, смертельная для стоматологов.

Предаваться ярости было куда приятнее, чем сожалеть о своей потерянной жизни. Кроме того, ярость служила надежной защитой от посторонних взглядов.

– Йон Уайткрофт?

У мужчины, взявшего у меня из рук чемодан и пожавшего мне мои перепачканные шоколадом пальцы, в противоположность Бородаю не было и намека на бороду. Круглое лицо Эдварда Поппельуэлла отличалось столь же малым количеством волос, что и мое (к его великому огорчению, как я установлю вскоре). У его жены, напротив, пробивались темные усики над верхней губой. А голос Альмы Поппельуэлл был ниже, чем у ее супруга.

–Добро пожаловать в Солсбери, Йон, – сказала она, с легкой дрожью всовывая мне в липкие пальцы носовой платок, – можешь называть меня Альма, а это – Эдвард. Мы приемные родители. Тебе мать наверняка сказала, что мы тебя здесь ждем, правда?

От нее так сильно разило лавандовым мылом, что мне сделалось плохо, хотя, может быть, тому виной были плитки шоколада. Приемные родители... только не это. Я хотел назад в мою прежнюю жизнь: к моему псу, к моей матери, к моим сестрам (хотя иной раз я мог бы обойтись и без них), к моим друзьям в старой школе... и чтобы никакого там Бородая, никакого безбородого приемного отца и никакой мыльно-лавандовой приемной матери.

Поппельуэллы, естественно, привыкли к ностальгирующим пришельцам. Едва мы покинули станцию, безбородый Эдвард прочно укоренил свою руку на моем плече, словно желая в зародыше задушить всякую мысль о попытке к бегству. Поппельуэллы были невысокого мнения о езде на машине (злые языки утверждали, что причиной тому было слишком сильное пристрастие Эдварда к виски и его твердая убежденность в том, что в один прекрасный день благодаря регулярному его употреблению у него начнет пробиваться щетина). Как бы то ни было, мы отправились пешком, и Эдвард затеял лекцию о Солсбери, обо всем, что можно рассказать за тридцать минут пешего хода. Альма перебивала своего супруга только тогда, когда он называл даты, так как Эдвард их немного перепутал. Могла бы не стараться. Я все равно не слушал.

Солсбери возник во влажных туманах темной древности. В городе 50 тысяч жителей и 3,2 миллиона туристов, желающих попялиться на кафедральный собор. Город встретил меня проливным дождем, а собор устремил к небу свою башню, словно предостерегающий перст над мокрыми крышами. *Слушайте, Йон Уайткрофт и все сыны мира сего! Вы просто болваны, если думаете, что ваши матери вас любят больше всего на свете!*

Мы шли по улицам, существовавшим уже во время последней чумы в Англии, а я не смотрел ни направо, ни налево. Эдвард Поппельуэлл купил мне по дороге мороженое («Мороженое можно есть и под дождем. Правильно, Йон?»). Но у меня в моей мировой скорби на губах не показалось даже «спасибо», вместо этого я воображал себе, как растеклись бы пятна от шоколадного мороженого по его бледно-серому галстуку.

Стоял конец сентября, и на улицах, несмотря на дождь, толпились туристы. Рестораны рекламировали фиш энд чипс, а витрина шоколадной лавки выглядела поистине заманчиво, но Поппельуэллы взяли курс на ворота в городской стене, с обоих флангов защищенные магазинчиками, где продавались соборы, рыцари и извергающие воду чудища из посеребренной пластмассы. Именно ради вида, который ожидает вас за воротами, и являются сюда все эти чужестранцы, толкавшиеся на главной улице с разноцветными рюкзаками и пакетами с бутербродами, но я даже головы не поднял, когда передо мной открылся двор кафедрального собора в Солсбери.

Я не удостоил взглядом ни собора с черной от дождя башней, ни старинных домов, окружавших его, словно толпа разряженных слуг. Передо мной был только рассевшийся на софе перед телевизором Бородай, слева от него – мать, справа спорившие о том, кому первому взбираться к нему на колени, сестры, у ног – Ларри, предатель-пес.

Пока Поппельуэллы поверх моей головы спорили о том, в каком году был построен собор, я видел мою осиротевшую комнату и мое опустевшее место за партой в старой школе. Не то чтобы я особенно охотно за этой партой сидел, но теперь уже сама мысль о ней трогала меня до слез... которые я утирал Альминым, пропитанным лавандой, словно ядом (и между тем уже коричневым от шоколада), носовым платком.

Все остальные воспоминания о дне моего приезда окутаны туманом тоски по дому, но стоит мне поднапрячься, как все же всплывет пара размытых картин: вот ворота перед старым до- мом, где расквартированы ученики интерната

 («Построен в 1565 году, Йон!» – «Вздор, Эдвард, в 1594-м, а здание, где он будет ночевать, – в 1920-м»), вот узкие коридоры, комнаты, пахнувшие чужбиной, чужие голоса, чужие лица, еда, настолько по вкусу походившая на ностальгию, что мне едва кусок в горло лез...

Поппельуэллы определили меня в трехместную комнату.

–Йон, это Ангус Мальроней и Стьюарт Креншау, – объявила Альма, втолкнув меня в комнату. – Я уверена, что вы станете лучшими друзьями.

«Да неужели? А если нет?» – думал я, рассматривая плакаты, развешанные на стенах моими будущими соседями. Конечно, при этом нашелся плакат одной рок-группы, которую я ненавидел. Дома у меня была отдельная комната с вывеской на двери, гласившей: *«Посторонним, а также членам семьи вход строго воспрещен»* (пусть даже моя младшая сестренка этого и не могла прочесть). Ни рядом, ни подо мной никто не храпел. Никаких грязных носков на моем ковре (кроме моих собственных), никакой музыки, которую я терпеть не мог, а на стене – никаких плакатов рок-групп или футбольных команд, к которым я питал отвращение. Интернат. Моя ненависть к Бородаю была достойна Гамлета (правда, нельзя сказать, чтобы я тогда имел о Гамлете хоть какое-то представление).

Ангус и Стью изо всех сил старались меня подбодрить, но я был слишком удручен, чтобы сподобиться на нечто большее, чем только запомнить их имена. Я даже не взял леденцов, которые они достали для меня из своих тайных (и находящихся под строжайшим запретом) кладовых со сладким. Когда вечером позвонила моя мать, мое поведение не оставило больше никакого сомнения в том, что она пожертвовала счастьем единственного сына в угоду бородатому чужаку, и я положил трубку со свирепой уверенностью, что она проведет такую же бессонную ночь, как и я.

Интернат. Свет выключается в 20:30. К счастью, у меня был с собой карманный фонарик. Целые часы я проводил за тем, что мысленно выскребал имя Бородая на могильных камнях, в то же самое время изрыгая проклятия в адрес жесткого матраца и дурацкой плоской подушки.

Да. Моя первая ночь в Солсбери была довольно-таки мрачной. Причины моего глубочайшего горя были, разумеется, смехотворными в сравнении с тем, что последовало далее. Но откуда мне было знать, что тоска по дому и Бородай вскоре сделаются моими самыми незначительными заботами? С тех пор я частенько задаю себе вопрос: неужели и правда существует нечто наподобие судьбы? И если да, то можно ли ее избежать? Оказался бы я когда-нибудь в Солсбери, если бы моя мать не влюбилась вторично? И неужели я никогда бы не встретил Лонгспе, Эллу, Стуртона, не будь Бородая? Возможно...

**2 глава**

На следующий день я увидел мою новую школу. От интерната ее отделял лишь короткий путь пешком через церковный двор, и на этот раз, когда Альма Поппельуэлл вела меня мимо собора, я все же удостоил его заспанным взглядом. Улицу позади него окаймляли буки, и она оглашалась криками чересчур бодрых первоклассников.

Будто желая меня защитить, Альма положила мне руку на плечо, и мне стало от этого довольно-таки неловко, в особенности когда мимо нас промчались первые девчонки.

Школьный двор лежит в конце улицы за железными воротами, перелезая через которые, распарываешь себе штаны как нечего делать. Но в это утро ворота были широко раскрыты. Украшавший их герб являл всего-навсего скучную белую лилию на синем фоне, никаких тебе там единорогов или львов, как на городской стене.

– Что ж, в конце концов, это тоже королевский герб Стюартов, мистер Уайткрофт! – заявит с изнуренной миной мистер Рифкин, мой новый учитель истории, когда я несколько дней спустя сочту это обстоятельство достойным порицания, и на протяжении целого мучительного часа будет объяснять, почему трогательные геральдические звери совсем

непригодны для приходской школы.

Моя старая школа напоминала цементную коробку. Новая – была дворцом. – Отстроена в 1225 году, в качестве резиденции епископа, – поясняла мне Альма, возвышая голос, так как на нас напирала шумная и беспокойная толпа взрослых парней.

От страха меня мутило, и потому мало было пользы воображать себе в утешение, как на одном из громадных деревьев, растущих посреди газона перед школой, болтается Бородай.

Пока мы приближались по скрипящему гравию ко входу, Альма продолжала свою лекцию: – Основное здание было возведено в 1225 году, в XV веке епископ Бошам1 приказал построить с восточной стороны башню, фасад... –и так далее и тому подобное.

Она с благоговением назвала даже имена нескольких епископов, проживавших здесь раньше. Портреты их висят на лестничной клетке, и бросать им в лоб бумажные шарики перед контрольной якобы способствует удаче.

Правда, у меня из этого никогда ничего не выходило. Как бы то ни было... от всех знаний, которыми Альма начинила в то первое утро мою утомленную голову, у меня в памяти застряло только одно: как у Якова II1 (за одним из окон на третьем этаже) так сильно по шла из носу кровь, что он, вместо того чтобы сражаться против Вильгельма Оранского1, дни напролет валялся в постели.

Выучил я в этот первый день немного.

Слишком уж я был занят тем, чтобы запомнить лица и имена и не потеряться в лабиринте коридоров и лестниц. Должен сознаться, было непохоже, чтобы мои соученики умирали с голоду, а темные залы, померещившиеся мне было сквозь слезы, я так нигде и не обнаружил. Даже учителя оказались вполне сносными. Но все это никак не меняло тот факт, что я был изгнанником, и потому я возвращался к Ангусу и Стью с одинаково мрачной физиономией, которую нацеплял на себя утром перед зеркалом в ванной. Я был графом Монте-Кристо, вынашивавшим план возвращения из ужасного заточения на острове, чтобы отомстить всем тем, кто его туда отправил. Я был Наполеоном, изгоем, в одиночестве погибавшим на острове Святой Елены, Гарри1 под лестницей Дерсли.

Дом, где протекали ночи моей ссылки, историями о кровотечениях из королевского носа похвастаться не мог. Школьный интернат был переведен туда из епископальной резиденции совсем незадолго до моего поступления. Согласно рассказам Поппельуэллов, само здание тоже было довольно старым, но в современной пристройке, где мы спали, царил XXI век: линолеум, двухъярусные кровати, ванные комнаты, а на первом этаже гостиная с телевизором. Девочкам был отведен второй этаж, мальчикам – третий.

В нашей трехспальной комнате Ангус являлся неоспоримым обладателем отдельной кровати. На голову выше меня, на три четверти шотландского происхождения (о последней четверти он помалкивал), Ангус довольно ловко играл в рэгби и был одним из «избранных», как мы, в меньшей степени избранные, называли певчих в школьном хоре. Певчие облачались в одеяния, почти такие же древние, как и сам епископальный дворец, для репетиций их освобождали от занятий, и пели они не только в соборе, но и в местах с экзотическими названиями вроде Москвы и Нью-Йорка. (Не выдержав отбор в хор, я не очень-то удивился, но мама порядком подрасстроилась. Ведь отец мой как-никак был хористом.)

Над Ангусовой кроватью висели фотографии его собаки, двух канареек и ручной черепахи, но не было ни одной с изображением членов его семьи. Когда мы, Стью и я, с ними наконец познакомились, мы признали, что они и в самом деле собаке и канарейкам в обаянии сильно уступали. Правда, дедушка Ангуса имел очень большое сходство с черепахой.

Ангус спал под горой мягких игрушек и носил пижамы с изображением собачек; оба эти обстоятельства, как я вскоре узнал, лучше было оставлять без комментария, если тебе не хотелось на собственной шкуре испытать, что такое объятие по-шотландски.

Стью занимал кровать наверху, мне же досталась та, что внизу, а с ней – матрац над моей головой, чей скрип в первые ночи будил меня всякий раз, когда Стью переворачивался. Стью был лишь немногим больше белки, а веснушек у него было столько, что они едва умещались на его лице. Кроме того, он отличался такой словоохотливостью, что я был чрезвычайно признателен Ангусу, когда тот ему время от времени просто зажимал рот. Стью не испытывал никакого пристрастия ни к мягким игрушкам, ни к пижамам с собачками. Зато он обожал покрывать свое щупленькое тельце фальшивыми татуировками, которые наносил себе водостойкими фломастерами на любое доступное место, хотя Альма Поппельуэлл два раза в неделю их безжалостно с его кожи соскабливала.

Эта парочка предпринимала все возможное, чтобы меня развеселить, но с моей убежденностью, что я несчастен и отвергнут, мои новые друзья ничего не могли поделать. К счастью, ни Ангус, ни Стью не принимали мое угрюмое молчание на свой счет. На Ангуса самого подчас нападала ностальгия, хотя он уже второй год жил в интернате, а Стью был слишком озабочен своей влюбленностью во всякую мало-мальски сносно выглядящую девчонку в школе, чтобы еще предаваться каким-то размышлениям обо мне.

Это была моя шестая ночь, когда мне стало ясно, что тоска по дому будет моей самой незначительной печалью в Солсбери. Ангус напевал сквозь сон какой-то гимн, который он разучивал для хора, а я лежал тут же и задавал себе все снова и снова вопрос, кто первый сдастся: моя мать – осознав наконец, что ее единственный сын все-таки важнее, чем бородатый стоматолог, или я – не перенеся свинцовой тяжести на сердце и взмолившись, чтобы она забрала меня домой.

Только было я хотел накрыть подушкой голову, чтобы скрыться от бормочащего Ангусова пения, как услыхал фырканье лошадей. До сих пор я помню, как, на ощупь пробираясь к окну, я спрашивал себя: может быть, это Эдвард Поппельуэлл, только что вернувшийся верхом из паба. Сонное мычание Ангуса, наша одежда на полу, свет дешевенького ночника, который Стью держал на письменном столе, – все это ни в коей мере не подготавливало меня к тому, что снаружи, среди залитой дождем ночи, меня могло ожидать нечто грозное.

Но это были *они.*

Три всадника, таких бледных, как если бы ночь покрыла их плесенью. И они в оцепенении смотрели вверх. На меня. Все в них было бесцветным: накидки, сапоги, перчатки, пояса, а также и мечи на боку.

Они походили на людей, которым ночь высосала всю кровь из тела. У самого рослого пряди волос спадали до плеч, а сквозь его тело я различал кирпичи в стене, которой был обнесен сад. Другой, рядом с ним, был почти совсем лысый, и равно, как и третий, настолько прозрачный, что дерево за ними, казалось, прорастало сквозь их грудину. Вокруг их шей тянулись темные рубцы, как если бы кто-то провел им тупым ножом по горлу. Но самыми ужасными были их глаза: пустые глазницы, наполненные жаждой крови. До сих пор они прожигают дыры в моем сердце.

Их лошади были такими же бледными, как и всадники, со шкурой пепельного цвета, покрывавшей их обнаженные кости, словно изношенная ткань. Я хотел было зажать ладонями глаза – только бы не видеть бескровные лица, – но от страха, даже не мог пошевелить руками.

– Эй, Йон! Что ты там разглядываешь за окном?

Я даже не слышал, как Стью слез со своей кровати. Самый рослый призрак указал на меня костлявым пальцем, а его безгубый рот изобразил беззвучную угрозу. Я отпрянул, но Стью протиснулся мимо меня и прижал нос к оконному стеклу.

– Ничего! – констатировал он разочарован- но.

– Ничего не видно!

– Оставь его в покое, Стью! – пробормотал Ангус сквозь сон. – Он, наверное, лунатик. Лу-

натики сходят с ума, если с ними заговорить.

– Лунатик?! Вы что, ослепли?! – В панике я стал так кричать, что Стью бросил озабоченный взгляд на дверь. Но Поппельуэллы спали крепко. Призрак с лицом хомяка осклабился. Его рот казался зияющей щелью на матовом лице. Потом он медленно-медленно начал доставать свой меч. С клинка закапала кровь, а я ощутил такую острую боль в груди, что с трудом переводил дух. Я упал на колени и, дрожа, притаился под подоконником. До сих пор помню свой ужас. Я буду помнить его всегда.

– Черт побери, Йон, иди обратно спать! – Стью направился к своей кровати. – На улице ничего нет, кроме нескольких мусорных баков.

Он их действительно не видел. Я собрал все свое мужество и выглянул из-под подоконника. Ночь была темная и пустая. Боль у меня в груди исчезла, и я казался себе полным идиотом.

«Здорово, Йон, – думал я, заползая обратно под кусачее одеяло, – теперь ты еще и сбрендишь от тоски!» Может быть, у меня уже начались галлюцинации, ведь, кроме леденцов Ангуса и Стью, я ничего не ел.

Ангус спросонок опять затянул что-то себе под нос, а я еще пару раз вставал и прокрадывался к окну. Но все, что я снаружи увидел, это пустынная улица перед освещенным собором, и наконец я заснул с твердым намерением пропихнуть себе в желудок интернатскую еду.